

Т.Н. Бобринская (урожденная Тимашева)

ЗАМЕТКИ О МОЕМ ОТЦЕ

Я не социолог и вообще не ученый. Я дочь Николая Сергеевича Тимашева, которой в более зрелые годы пришлось стать его ученицей, другом и, на весьма скромных ролях, сотрудником. Таким образом, мои заметки носят личный характер и ни в коей мере не могут рассматриваться как попытка научной оценки деятельности профессора Тимашева.

Наш Тимашев, Тимашев, которого мы знали, был совсем иным, — не похожим на того, каким его знали ученые коллеги и общество. Воспоминаниями об этом Тимашеве мне и хочется поделиться в надежде, что таким образом мы приблизимся к большей полноте понимания его личности.

Как нередко случалось в среде тех, кто принадлежал к высшему культурному слою России Исторической, Николай Сергеевич был человеком многогранным — и обладал великим числом дарований, о которых знали только в узком семейном кругу. При этом он был до невероятия скромен и очень строго относился к себе и к своим достижениям. Он был верным сыном любимой им Родины, за которую он страдал и о которой он говорил известную ему правду, хотя бы это шло вразрез с распространенными тогда воззрениями на предреволюционную Россию и на особенности ее исторического пути — прежде всего, он говорил о необходимости возврата всей русской жизни в ее исконное русло. Также, в отличие от большинства своих коллег, он был глубоко верующим человеком и объяснял нам, что к вере пришел самостоятельно, как к наиболее логически непротиворечивому объяснению феномена существования нашего мира.

О детстве отца мы знали мало. Наши родители вообще избегали разговоров о жизни в России — им было слишком тяжело вспоминать, может быть, потому, что все это было еще слишком близко: тюрьма, голод, ожидание расстрела и, конечно, смерть в советской тюрьме деда, бывшего министра и статс-секретаря Его Величества. Впоследствии нам, уже взрослым, отец кое-что рассказывал о добрых старых временах. Из рассказов его следовало, что детство прошло в довольно строгой, дисциплинарной «немецкой» атмосфере. Учиться полагалось только в определенных школах, разнообразие в выборе карьеры не допускалось. Сначала отец заставил старшего сына определиться в Кавалергардский полк, но так как у моего отца было плохое зрение, ему вскоре дали возможность подать в отставку. Дед настаивал на том, чтобы он пошел на государственную службу в министерство юстиции, где имелась возможность быстрого продвижения, но отец добился своего — он хотел преподавать и писать. Единственный род государственной службы, который его мог заинтересовать, относился к министерству народного просвещения. Отец всю жизнь настаивал на необходимости доступного общего образования.

Итак, свою академическую карьеру он начал с деятельности профессора в Петербургском университете и в Политехническом институте — вплоть до по-

бега из России под угрозой расстрела. В эмиграции, после Берлина и Праги, семья поселилась во Франции.

И здесь жизнь профессора Тимашева переменялась, потому что появились мы — дети. На его «отцовской ипостаси» я хочу немного остановиться, так как это была совсем особая часть его натуры.

Он был удивительным, нежным, заботливым отцом. Жили мы под Парижем, очень скромно — наша мать, брат и я. В часы, когда отец работал дома — помню быстрый стук его пишущей машинки за закрытой дверью кабинета — ему нельзя было мешать. Но, как только открывалась дверь, он уже всецело принадлежал нам, и мы начинали играть. Игра была своеобразная: он нас развлекал и одновременно учил. Мы часто играли в кубики, но домиков не строили. Строили мы виадуки, греческие храмы, египетские пирамиды, средневековые замки и т.д. Папа нас знакомил с мировой историей, физикой, архитектурой, так как постройки из кубиков служили для объяснений, кто такие римляне, для чего они строили виадуки и каким законам физики подчинялась текущая по ним вода. Египет, Греция, средневековье — он рассказывал о быте, религии, условиях жизни разных народов и времен, о том, как люди могли без машин возводить такие здания, как Пантеон, или создавать готические кружева из камня. Укладывая нас спать, — а укладывал он, а не мама, — отец рассказывал сказки, которые специально придумывал для нас. Сказки эти увлекали не только нас, детей, но и гостей матери: они покидали гостиную и тихонько сидели на лестнице, слушали. Персонажи сказок, люди и звери, говорили разными голосами — это был как бы маленький театр, и мы запомнили его на всю жизнь... А через тридцать лет дедушка Тимашев рассказывал эти сказки уже своей внучке (моей дочери).

Мы жили между Парижем и Версалем, и недалеко был лес, где мы часто гуляли и во время прогулок узнавали о растущих там деревьях и цветах, камнях и горах, о водных течениях. В этом лесу сохранилась огромная лиственница, под которой, как говорила легенда, любил отдыхать король Людовик XIV; другой достопримечательностью было строение из огромных камней — дольменов и мельхиров; мы не только лазали по нему, но и узнавали, из каких горных пород оно построено. В нашем маленьком садике мы растили овощи и цветы — и посвящались в науку земледелия. Отец был очень хорошим огородником, и был даже такой случай, когда в первые годы после революции в его бывшем имени местный комиссар предложил ему ответственную должность: стать комиссаром по сбору урожая. На его возражение, что он, мол, бывший буржуй, комиссар ответил: «Ничего, мы вам чекистов дадим, расстреливать будете». Тогда отец достал вызов Петроградского Политехнического института, и любезно указал начальству на то место бумаги, где виднелось магическое слово *Петросовет*, закрыв пальцем остальные слова. Увидев сей документ, комиссар его отпустил с почетом. Отец также отлично чертил; играя, мы учились рисовать карты России и Европы, геометрические фигуры и тому подобное. В школе мы с братом не только учились на пятерки, но повергали учителей в изумление своей необычной для нашего возраста осведомленностью в самых различных областях. Должна признаться, что я никогда не открывала книг по математике. Их просматривал отец, и пересказывал мне так, как считал нужным, и я получала полный балл.

У него был удивительный талант будить в людях — и не только в нас — интерес ко всему окружающему и к собственно познанию. Уже в последние годы жизни, когда он не мог ходить, он отказался от одной из лучших медицинских сестер, ухаживавших за ним, негритянки с острова Ямайка. Отец убедил ее продолжать образование, и она уехала в другой город. Она нам часто звонила и справлялась о здоровье Николая Сергеевича, а когда узнала о его кончине, я услышала в телефонной трубке ее рыдания.

Когда мне было девять лет, у нас появился рояль — и мы узнали, что папа довольно хорошо играет сам; вероятно, потому, что он так много печатал на машинке, его пальцы не утратили беглости. Когда я овладела музыкальной техникой, мы с ним стали играть в четыре руки — симфонии Моцарта, Бетховена, и это продолжалось почти до его последних лет.

В США он уехал в 1936 г. Сохранились очень интересные письма — его впечатления о новом мире, где ему понравилось. Мы же приехали в США в 1939 г., в начале войны. Поселились в Кэмбридже, недалеко от Гарвардского университета. Я должна была готовиться ко второму «башо» — степени, соответствовавшая второму году обучения в американском университете. Готовиться приходилось самой, так как в Бостоне не было французского лицея. Конечно, мне помогал отец. Среди обязательных предметов были психология, логика, метафизика, но экзаменующийся мог выбрать один специальный предмет. Нечего и говорить, я выбрала социологию — и тут-то мой отец превратил меня в лабораторную мышь. Он уже тогда размышлял о курсе по социологической теории, и я стала его «аудиторией». Этот курс, который он потом постоянно читал, вылился в знаменитую книгу «Социологическая теория», которую он посвятил мне. Устный экзамен по философским предметам у нас принимал знаменитый философ-томист Жак Маритэн. Он настолько заинтересовался мыслями шестнадцатилетней девочки, что пожелал познакомиться с ее отцом, что и произошло сразу после экзамена (а я получила поистине баснословную оценку).

В дальнейшем, особенно когда мне довелось преподавать русский язык и литературу в двух университетах, я часто обращалась к отцу за различными сведениями, так что мне не надо было рыться в энциклопедиях. Особенно ценной была его помощь, когда я готовила диссертацию по французской литературе в соотношении с римской историей.

После появления книги «Введение в социологию права» звезда Тимашева в США засияла ярким светом. Его повсюду приглашали читать доклады, публиковать статьи, рецензии. Несмотря на то, что отец перешел из Гарварда в католический Фордэмский университет, где он создал социологический отдел на уровне аспирантуры, его научная деятельность продолжала разрастаться.

Нужно отметить, что в то время к католической науке относились весьма скептически, так как считалось, что католическая доктрина влияет на мышление и деятельность профессоров. Это совершенно не соответствовало действительности, и уж во всяком случае не касалось Тимашева. У него было гораздо больше свободы выбора в Фордэме, нежели в Гарварде. В университете знали, что он не атеист и не коммунист, и никак не вмешивались в его преподавательскую и ученую деятельность, хотя, поскольку он не был католиком, его обходили кое-какими почестями и наградами.

Во время войны количество студентов сильно сократилось, и чтобы прожить, отец стал преподавать в женском католическом университете Мэримаунт. Ему это очень нравилось, потому что умы молодых студенток были еще открыты для всего нового. Конечно, с ними надо было начинать с азов, но зато в результате появилась книга «Общая социология», написанная в соавторстве с двумя его фордэмскими аспирантами. Один из них был носителем очень изысканного английского. Хотя отец и владел английским языком идеально и словарь его было очень богат, он прекрасно понимал, что это не родной его язык и некоторые выражения звучат в его письменной речи несколько «по-иностранному». Получив приглашение в Гарвард, Тимашев, в отличие от многих своих европейских коллег, стал брать частные уроки английского, а когда приехал в США, целый год брал уроки американского произношения. То же самое он сделал, когда получил приглашение в Голландию в качестве «профессора по обмену». В Голландии он преподавал американскую социологию, а «привез» из Европы систему обращения с отбывающими тюремное заключение и распространенную там систему условного осуждения. В одной рецензии на его книгу «Три мира» есть такие слова: «Профессор Тимашев преподает в Фордэме и размышляет в свободное от преподавательских трудов время. В итоге этих размышлений ему есть, что сказать. В этой книге он сказал очень многое». Но и преподавателем он был превосходным: студенты его очень любили и ценили; в Гарварде он получил прозвище «великий Тимми», а в Фордаме — «великий Тим». Многие студенты остались друзьями Николая Сергеевича до самой его смерти, навещали его и трогательно следили, чтобы за ним был правильный уход.

Он не любил праздных разговоров, не понимал большинства стандартных шуток. Глупость его раздражала. Однако он с удовольствием отвечал на пытливые вопросы и шел навстречу, если нужна была его помощь. Многие обязаны ему своим успехом. Он терпеть не мог интриг, и удалялся, чуть только они появлялись; это стоило ему некоторых затруднений в его академической карьере. Когда он стал уже не так здоров, я понемногу стала ему помогать: печатать рукописи, заниматься библиографией и гранками, а впоследствии и кое-какими изысканиями, когда он больше не мог ездить в свою любимую библиотеку. Мне пришлось ближе познакомиться с его манерой работать, и я поняла еще одну сторону его личности: глубокая честность в отношении науки и людей науки. В своих отзывах он всегда хвалил то, что находил в работе хорошим — но если что-то, по его мнению, оказывалось неудачным, он писал об этом прямо, даже если это доставляло ему неприятности. Был случай, связанный с его старым другом, профессором Питиримом Сорокиным, который на него обиделся: как, дескать, он, друг! — смел написать не вполне благоприятную рецензию на один из его, сорокинских, трудов. Скажу сразу же, что отец очень уважал и любил Сорокина, хотя далеко не во всем с ним соглашался. Он не придавал значения тому, что кое-кто в ученых кругах считал, будто бы в знаменитом труде Сорокина «Культурная и социальная динамика» самая ценная часть *была тимашевской* и что именно работа Тимашева позволила Сорокину разработать свою концепцию. Привожу слова их современника и коллеги проф. Георгия Гинса: «Тимашев достиг поставленной цели... и убедительно и непредвзято показал, что развитие происходит не планомерно, а с колебаниями в ту или иную сторону. Сорокин, который ранее был склонен признавать прогрессивное

развитие основной тенденцией в истории цивилизации и культуры, согласился с мнением Тимашева». По отношению же к самому себе мой отец был очень строг, даже суров. От многих предложений он отказывался, считая себя недостаточно компетентным в какой-либо области, и нередко рекомендовал обратиться к другому специалисту.

В течение нескольких лет отец преподавал на летних курсах в университете Мидльбури, где существовал известный тогда Институт советоведения на уровне аспирантуры. Туда к нему приезжали учиться сотрудники государственного департамента, зарубежные ученые, военные. Не один раз туда наезжали молодцы из КГБ и пытались сорвать лекции. Как-то раз, когда такие слушатели пришли на лекцию отца с разного рода «агитационными» замечаниями, он их так «отшлепал», что они удрали с поджатыми хвостами, и эта история появилась в газетах. Спорить с отцом было почти невозможно — его логика была убийственной!

Каждое лето в свободное время он уезжал в деревню, вставал на рассвете, все утро работал в огороде, и когда мы поднимались, он уже возвращался после усердных земледельческих трудов. Потом он радостно собирал урожай. Шутя мы называли его «фермер Тимашев» — и действительно, фермер он был превосходный.

Большой перелом в его жизни произошел после тяжелой болезни и смерти жены, которую он очень любил. В последний месяц ее жизни он и сам серьезно захворал и перенес операцию.

Мать была поэтессой. Печататься она начала по благословию Набокова; после ее смерти отец издал книжку ее избранных стихотворений. Сам он еще больше углубился в науку, которая спасала его от тоски.

Рождение внучки как бы осветило его жизнь. Дедушка гулял с ней, рассказывал ей сказки, учил говорить, читать и писать по-русски. Внучка принесла ему огромную радость в его последние годы.

После года, который отец провел в Голландии, мы заметили, что его здоровье пошатнулось, хотя в 70 лет жизненный ритм его более подходил для человека в расцвете сил.

Понемногу он терял способность ходить из-за страшного остеоартрита, который искривил его спину. Он вышел в отставку из Фордэмского университета, но еще несколько лет преподавал в Мэримаунт. И продолжал писать. В его последний преподавательский год лекции проходили у нас дома в его кабинете, и я могла их слушать. Он никогда не читал, а говорил. Перед ним была лишь маленькая записка и часы. Помню, как во время одной из этих лекций он запнулся — что-то забыл — нашел необходимую справку и тут же извинился перед студентами, сказав, что профессору так делать не полагается, значит, он плохо знает свой предмет. Той же весной, в 77 лет, он попрощался со студентами, попросив их *продолжать думать*. Он был прикован к креслу, к письменному столу, за которым работал — и отдыхал в обществе любимой внучки.

После его ухода из Фордэма, приглашения буквально посыпались: опять в Гарвард, в Брандайс, в Нью-Йоркский университет и другие. После выхода его книги об известном политическом деятеле и социальном философе Луиджи Стурцо его пригласили в Рим. Он всем отказывал, никому не объясняя причины — невозможность самостоятельно передвигаться. В последние годы болезни становились все более частыми, более серьезными и длительными. Он страдал,

но жаловался редко. Скорбел о том, что доставляет нам много хлопот, и работал, сколько мог. После очередного приступа болезни он мне сказал: «Перо покоя просит». Я знала, что ему осталось недолго.

Как я уже сказала, он был глубоко верующим человеком и не стеснялся об этом говорить. В молодости, как у многих, у него были сомнения в вере, но он пришел к осознанию бытия Божия, несмотря на все точные науки, за развитием которых он следил. Он говорил, что Бог — это логично и иначе быть не может. Его религиозное сознание пребывало на высоком философском уровне; его духовным отцом во Франции был профессор-протоиерей о. Сергей Булгаков, а в США профессор-протоиерей о. Александр Шмеман.

Он нас уверял, что готов к смерти, когда Господь его призовет. Он заметно слабел, но до последних дней читал со мной и внучкой молитвы, и, с трудом поднимая руку, благословлял нас на сон грядущий. Его последним желанием было причаститься во время Великого поста, что и исполнилось за три часа до его кончины.

После этой незаменимой потери со мной пребывает светлый образ отца, его дух, до последнего вздоха побеждавший тело. Это осталось для меня примером на всю жизнь.

Наследие Тимашева огромно, но оно недостаточно изучено, недостаточно доступно и поэтому недостаточно известно. Как писал профессор Нью-Йоркского университета Роберт Бирстед, Тимашев — один из самых недооцененных социологов. Это можно и должно исправить. Круг его интересов был очень широк: он писал о социологии права (будучи одним из создателей этой отрасли социологической науки), о социологической теории, о криминологии и условном осуждении, о расовых и национальных проблемах, о методологии, о политической социологии и советоведении — и в каждую из этих дисциплин сделал ценный вклад. Но поскольку в науке, по крайней мере, в США, преобладало изучение узких специальностей (нечто вроде досконального изучения левого мизинца, так что специалистам в этой области ничего не известно о существовании мизинца правого) — мало ученых такой широты знаний и интересов. Кроме того, Тимашев писал на разных языках, что для него было естественным, но в результате значительная часть тимашевских материалов оказалась недоступной американским ученым, большинство из которых зачастую не знают ни одного иностранного языка. Он также написал много статей, которые разбросаны по разным журналам, и собрать их нелегко. И, наконец, как я отметила выше, он преподавал в католическом, т.е. конфессионально «окрашенном» университете, и это как бы наложило клеймо на его труды — потому что в США гораздо больше предрассудков, чем многие себе представляют. К сожалению, известное число американских ученых и критиков сначала обращались к Тимашеву как к «католическому ученому», а потом уже начинали понимать, что его мысль не находилась под влиянием какой-либо внешней доктрины. Он все это понимал, но выбрал все же Фордэм, поскольку он находился в Нью-Йорке, где ему были доступны главные библиотеки США. Он не создал громких теорий, как, например Толкотт Парсонс, большинство теорий которого теперь пересмотрены. Его научный подход был многогранен, «поливалентен», в нем применялись многие параметры, и это часто делало его труды слишком сложными для восприятия большинства американских социологов.

Его работы, касающиеся анализа России (СССР), представляли интерес только для узкого круга читателей, и притом они шли вразрез с распространенным тогда подходом к тому, что происходило на территории бывшей Российской империи. «Сентименталисты» во главе с Элеонорой Рузвельт утверждали, что сердобольные большевички освободили рабов-крестьян и дали им всем кушать и что там полная свобода — никаких гонений. А Тимашев первый в США опубликовал книгу о гонениях на религию — в 1942 г., в разгар дружбы Советов с «дядей Джо». Его обвинили в мракобесии, клевете и т.д. А сегодня на первой странице «Нью-Йорк таймс» — статья о поруганном псковском соборе 1124 г., где среди оскверненной святыни нашли и трупы расстрелянных.

Когда Тимашев написал о голоде на Украине начала 30-х годов, на него посыпалась злостная критика — о раскулачивании нельзя было писать. Даже когда появились неопровержимые доказательства уничтожения миллионов людей, было сказано, что это русский геноцид против украинцев. Несмотря на такого рода критику, он ни на йоту не отступал от своих убеждений. Тимашев всегда утверждал, что Россия есть часть европейской семьи народов и вернется на свой исторический путь, причем уже в 40-50-е годы он видел тенденции к этому возвращению-возрождению настоящей России. Тимашев чуть ли не первым предвидел иную, отличную от большевистской, идеологию, пользующуюся все большей и большей внутренней поддержкой населения подъяремного народа и верил, что это приведет к падению советской власти. Его мысли о судьбах России интересны и обязательно должны быть изучены, его теоретические размышления актуальны и применимы к современной ситуации. Но родная страна была для него закрыта. Даже в 50-е годы его упоминали в «Правде» как злодея — «белогвардейца и черносотенца». Могу сказать, что он был в восторге от этой ругани в «Правде» — это означало, что он попал в точку, так как он использовал их же сведения и статистику для убийственных выводов. Теперь Россия, наконец, открылась, и есть возможность вернуть это интеллектуальное богатство на родину ученого. Недавно я увидела в русской газете статью, перепечатанную из газеты «Возрождение» от 30-х годов. Во вступлении к статье говорится: мысли, излагаемые автором, настолько современны, что кажется, будто статья написана сейчас, в 90-е годы. К сожалению, мой отец давно выбросил все свои газетные статьи, анализирующие советские дела, но статьи научные, особенно напечатанные не в России, сохранились. Хотя почти все труды отца были изданы, осталось и рукописное наследие, которое, как мы надеемся, теперь увидит свет. Есть рукопись по социологии права и много довольно полных курсовых заметок по политической социологии, методологии соотношения рас и национальностей. Выдающиеся теоретические работы Тимашева должны быть переведены на русский язык и стать российским достоянием. Кроме научного наследства, после смерти отца мы обнаружили четыре тома отпечатанных на машинке стихов, которые он никогда никому не показывал. Мы знали его стихотворения для детей, любили их, но о целой самостоятельной области творчества не имели понятия. И эту часть его духовного богатства хотелось бы также явить миру.

Главное — это вернуть большого русского ученого и глубокого мыслителя на его любимую родину — Россию.